

Зоей, мать сама проговорила, терзая себя раскаянием, и отцу ничего не оставалось делать, кроме как объяснить и смягчить общую их вину. Мы поняли это и ни в чём не обвиняли своих родителей.

Война была и в глухой нашей деревушке, за тысячу километров от фронта. Некоторые солдаты уже получили похоронные на своих кормильцев, отпали как-то сами собой выходные дни, хлеб с начала сорок второго года нам стали выдавать по карточкам.

Будь мы колхозниками, у нас, возможно, остались бы какие-то хлебные запасы на первый год, но мы уже привыкли к положению совхозного рабочего с его ежемесячной зарплатой, свежим хлебом из пекарни, продуктами из магазина, и карточная система, особенно для многодетных семей, оказалась тяжкой.

Я и сейчас помню, как тонко нарезала мать хлеб, какие маленькие ломтики – по одному на каждого – оставляла нам, уходя на работу. И хотя мы только позавтракали, ломтики эти притягивали нас, мы нетерпеливо провожали мать до двери, и, едва она уходила, хлеб как-то сам собой исчезал, кроме двух ломтиков – для Зои и для Вали.

Этот хлеб был неприкосновенным и находился под моей личной ответственностью. Я до сих пор, будто подвигом, горжусь тем, что, нажёвывая близнецам соски, ни разу не проглотил ни крошки хлеба. Правда, я и не мог этого сделать: брат Шурка и сестра Тоська ревниво за мной следили. Они ведь тоже могли нажевать соски, Тося даже просила доверить ей и клялась, что есть совсем не хочется, только поддержать хлеб во рту хочется, но рисковать я не мог, и брат меня в этом поддерживал.

Следили мы и за Валькой: она быстро справлялась со своей в марлю завернутой долей и начинала кричать – верный сигнал её недобрых намерений, которые мы тут же пресекали.

Близнецы росли в равных условиях. Зое даже уделялось больше внимания, но уже через несколько месяцев четырёхфунтовая Валя сравнялась с ней, окрепла и стала уверенно обгонять. Она росла жадно, напористо, ей было тесно вдвоём в качающейся зыбке, она стремилась занять больше места, отталкивала сестру и хваталась ручонками за борт, чтобы встать. В полгода она садилась сама и пробовала подняться на ноги, подтягивалась на лямках зыбки, норовя выбраться совсем. Её жизненная цепкость, дерзость, уверенность были поразительны. Мы и любовались ею, и сердились на неё: она совсем не замечала Зои, не считалась с ней, будто её и не было, а была она одна, Валя, и о ней, только о ней мы должны были заботиться. Такая нахалюга.

А Зоя – таяла. Медленно, трепетно, безнадежно. Как тоненький светец излучины, который мать зажигала среди ночи, вставая к близнецам. Она вроде и не болела сильно, не чаще Вали болела, она именно таяла, безмолвно, невозвратно. Только последние два дня, видимо, не в силах сдержать своих страданий, она тяжело стонала, и белое лицо её, разругавшееся, жаркое, покрывали мелкие пшенички пота. А глаза будто просили прощения – за эти стоны, за хлопоты возле неё, за тревожную нашу озабоченность.

Она угасла в одну из февральских вьюжных

ночей нестерпимо холодной военной зимы. Самой первой, самой жестокой. Мы по колена увязали в снегу и растирали обжигаемые стужей лица, когда шли за её маленьким, как зыбка, гробом.

Овражистую нашу степь уже давно похоронили обильные снегопады, сугробы намело почти до крыш, а метельный пронизывающий ветер всё не утихал, всё резвился и выл на бескрайней белой равнине.

– Вот и слава Богу: увидел, прибрал к себе, – шептали бабы у могилы, истово крестясь. – Теперь ей полегше будет, Лександре-то.

– Полегше. Вот бы и вторую-то... спаситель наш...

– Типун тебе на язык – «вторую»! О своих вспомни!

– О своих и думаю...

Перочинным ножиком я вырезал на кресте краткое: «Здесь лежит Зоя, от роду восемь месяцев, мир праху её». А мать, глотая слёзы, уже торопилась домой, где орала совсем осатаневшая за эти дни Валька.

Теперь она осталась одна в двухместной зыбке, и обе материнские груди принадлежали ей одной, но молоко у матери иссякло в это время, а двухместная зыбка оказалась непривычно просторной и холодной, потому что рядом не было спокойной, греющей её сестры. Валька кричала, каталась от одного борта зыбки к другому, комкала ногами пелёнки и одеяльце, и успокоить её не было никакой возможности. Хлебной соски и той не было.

Долгие февральские вьюги перемели дороги, пекарня в совхозе не работала – не было дров, – и по карточкам вместо хлеба выдали муку. С учётом сорокапроцентного припёка, то есть почти наполовину меньше. Мать варила затируху с картошкой и, уходя на работу, ничего нам не оставляла. Мы терпеливо ждали обеда, мы привыкли к таким ожиданиям, но приучить Вальку не могли.

Совсем отчаявшись от её крика, от того, что в школу опять придётся идти, не выучив уроков, я хватал щепоть муки из кастрюли и бросал в распахнутый звенящий рот сестры.

Мгновенно смолкнув, Валька изумлённо глядела на меня, вытаращив глаза, – «Ага, соображать начинаешь, негодница!» – кашляла, пыхая в меня мукой, потом начинала жевать белыми губами, шевелить приклеенным языком, облизываться. И затихала на время.

Такие смирительные операции потребовали бы много муки, но Вальке они, к счастью, не понравились, и через несколько дней, к общей нашей радости, она перестала кричать. Возможно, ещё и потому, что уже привыкла к своему одиночному проживанию в зыбке, а может, от сытости: у матери опять восстановилось молоко – и Валька теперь опустошала обе груди. Но всё же я думаю, что мука тоже сыграла свою положительную роль. Во всяком случае, Валя окончательно освободилась от своей воинственной плаксивости и выросла здоровой и крепкой, оправдав имя, данное ей при рождении.

Несколько лет назад я был у неё на свадьбе. Валя окончила институт и осталась работать в городе. Мать, так и не дождавшись с войны отца, продала нашу опустевшую избу и переехала к ней.



На свадьбе мать сидела рядом с Валею и поглядывала на незнакомых гостей с гордостью богатой хозяйки: вот, мол, какую я дочь вырастила – красавица!

А городские гости гордились своим женихом и тоже не сводили глаз с невесты. Даже я, знающий сестру с пелёнок, глядел на неё с изумлением: когда только она успела так расцвести, эта черномазая чертовка! Сидит в белом воздушном наряде, смуглая, раздумывавшаяся, а большие цыганские глаза, скошенные на такого спокойно-надежного жениха, счастливо хлопают лопушистыми ресницами. Вот же, выбрала себе мужа почему-то не чёрного, а белого, с голубыми глазами. Или он её выбрал, белый – чёрную. По контрасту, что ли? Или сердце так подсказало?

О женихе я знал, что он рано остался без родителей, детство было сиротским, детдомовским, потом он пошёл «в люди», учился и работал, работал и учился и вот стал добрым специалистом, инженером в строительной организации. Он любит книги, стихи, увлекается живописью и фотографией, обещает стать хорошим семьянином.

Гости глядят на них, влюблённых и счастливых, улыбаются и, опрокинув рюмки, с воодушевлением кричат «горько!». Им приятно смотреть, как целуются молодые, и кричат они после каждой рюмки весь долгий праздничный вечер.

Радостная была, весёлая свадьба.

Год спустя счастливые сестра и зять поздравили меня с племянником и сообщили, что он смуглый, черноглазый и черноволосый, имя ему – Олег, что означает «святой». Олег Александрович.

Приятная эта весть была дорогой ещё и потому, что грамотные родители сознательно выбрали своему ребёнку имя, хотя я и не вижу тут прямого смысла. Святой, святость – до этого ли нам, людям атомного, космического века! Впрочем, возможно, что если не святости, то сердечности, бережности отношений к миру и друг к другу нам порой и не хватает. Но восполним ли мы этот недостаток, вы-

ражая свои надежды в именах родных детей? Ведь первоначальное значение именам – как заклинание, как молитвенную просьбу о будущем – придали наши предки, которые завещали исполнение своих желаний детям, не добившись этого сами. Теперь мы возвращаемся к тому же на новом уровне, хотя для нас человеческие имена давно потеряли первоначальный смысл и остались просто условными обозначениями того или иного лица. Чёрное оно или белое – не важно.

Я люблю своих сестёр, радуюсь их молодой свежести, горжусь их уверенной смуглой красотой. И всё чаще и чаще думаю о Зое, белокурой и синеглазой, которой не суждено было вырасти. И первой Зое. И второй. Первая была бы теперь старше меня, советчицей была бы, другом.

Мама сидит на диване со мной, вяжет носки к зиме и не вытирает тихих, безмолвных слёз, которые бегут и бегут по её щекам. Вот так, наверное, древние люди мучились, принося в жертву неведомому богу лучших своих детей.

И видятся мне распахнутые синие глаза на белом лице, пушистые завитки волос на висках и на лбу и русая коса, опустившаяся до пояса. Потрогать бы её, ощутить тугую тяжесть родных волос.

Но у меня не рождаются такие девочки. И у брата моего тоже. И у сестёр. Смуглые рождаются, темноволосые дети.

Неужели в глубинах нашей родовой сущности не осталось больше наследственных почек, изначальных, первых, из которых выходили бы синеглазые девушки и парни? Неужели эти две Зои были последними?

Я хочу как-то возратить принесенных в жертву, воскресить их в новом поколении, загладить забываемую вину ни в чём не виноватой моей матери. Горькая ты моя, бедная мама!

Я с завистью гляжу на белокурых и голубоглазых парней и девушек, гляжу на них с трепетной любовью и нежностью, и давняя боль невозвратимой потери бьётся во мне.

